



И. З. БЕЛОБРОВЦЕВА, С. К. КУЛЬЮС

Человек и «сверхчеловек» (к проблеме: Булгаков и Ницше)*

В романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» есть несколько персонажей, наделенных способностью воздействовать на других, причем диапазон этих воздействий широк — от возникновения у героев смутного ощущения чего-то происходящего вне и помимо их воли, до полного изменения их жизни в результате такого воздействия. Вместе с тем обладатели этой непонятной силы и загадочной власти над людьми в описании Булгакова по внешнему облику и развязкам сюжетных линий, в которых они действуют, как правило, парадоксально «не отвечают» этой своей сущности.

В наибольшей степени даром почти магического воздействия на людей обладает Иешуа Га-Ноцри, который обретает новообращенного ученика в лице самого Понтия Пилата, наделенного самой что ни на есть реальной властью над человеческими судьбами. Однако при первом же появлении в романе Иешуа представлен как обычный человек, более того, человек слабый, объятый тревогой и даже физически сломленный. Римский прокуратор сразу противопоставляется ему как разрушительная сила, запечатленная в сознании людей в виде «свирепого чудовища». Власть Пилата подкреплена и присутствием Марка Крысобоя, гиганта-кентуриона, обладателя непомерной физической силы, явленной в его внешнем облике и в том, что именно с ее помощью герой с легкостью добивается от Иешуа желаемого: «несильно размахнувшись», он «ударил арестованного», «движение кентуриона было небрежно и легко, но связанный мгновенно рухнул наземь. <...>

* Впервые: *Белобровцева И., Кульюс С. Человек и «сверхчеловек» (к проблеме: Булгаков и Ницше) // Philologia. Рижский филологический сборник статей. Вып. 2 Словесность и эволюция культуры. Рига, 1997. С. 130–141.*

Марк одною левой рукой, легко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего» (с. 22)¹.

Булгаков последовательно идет по пути описания слабости своего героя: Иешуа проявляет испуг, согласен на уступки («торопливо отозвался», выразил «готовность отвечать толково»), боится физической боли и смерти. Однако исподволь вводится мотив какой-то неясной силы, исходящей от этого героя. Характерно, что в разработке образа Иешуа Булгаков от редакции к редакции, с одной стороны, усиливает интеллектуальность своего героя (если в черновиках самого раннего варианта романа «слова (“по-римски”. — *И. Б., С. К.*) он знал плохо» (с. 216), то в окончательном тексте Иешуа, как известно, кроме арамейского, знает греческий и латынь); с другой стороны, несколько сужает приданный Иешуа первыми редакциями значительно более обширный провидческий дар. Так, в ранних редакциях Иешуа провидит не только свое собственное будущее, но и значимость описываемого дня и предстоящего решения для Понтия Пилата: «Но день сегодня такой, что находиться в состоянии безумия тебе никак нельзя, и твоя голова сейчас пройдет»². Известно ему и о «несчастиях», которые будут преследовать Пилата в дальнейшем. Значительно более детально, нежели в окончательном тексте, он знает и обстоятельства будущей смерти Иуды: «Это ужасно, прямо ужас... какую беду себе наделал Искарот. Он очень милый мальчик... А женщина... А вечером!»³. Единственная дивинация, в конце концов оставленная автором своему герою, — это глухой намек на судьбу Иуды и предсказание вечерней грозы (последнее вполне может иметь и реальную мотивировку).

Полюса традиционной оппозиции «сила — слабость» в «Мастере и Маргарите» разноточны и амбивалентны. Они могут выступать как в привычном соотношении двух полюсов, так и устанавливать равенство между этими полюсами. В слабости Иешуа для Понтия Пилата, обладающего реальной силой и властью, открывается подлинная сила. И, наоборот, человечность и внутренняя сила Пилата проявляются именно в моменты его слабости (например, во время приступа гемикрании).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что у Булгакова сила в своих внешних проявлениях соотнесена с властью и в конечном итоге оказывается поверхностной, бесплодной, не простирающейся за пределы земного существования, а следовательно, иллюзорной: иная шкала измерений делает ее слабостью. Проблематика реальности силы/власти,

¹ Здесь и далее цитаты приводятся по изд.: Булгаков М. А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1990. Т. 5, — с указанием страниц в скобках.

² Булгаков М. А. Великий канцлер. М., 1992. С. 115.

³ Там же. С. 222.

вопрос о ее границах нашли свое философское отражение в споре Пилата и Иешуа о власти земного правителя над человеческой жизнью, которая висит на волоске. Убеждение прокуратора, что он может «перерезать этот волосок», в романе опровергается зависимостью его последующей судьбы от бродячего философа.

Этот эпизод часто приводится исследователями как одно из доказательств философской сущности романа «Мастер и Маргарита». Соглашаясь с этим, отметим, однако, примечательную особенность: писателя никогда не интересовала философия в чистом виде, как спекулятивное знание. Далекий от теоретических ее сторон, он интересовался «практическим» ее преломлением, проекцией умозрительных идей на жизнь. И в данном случае за обсуждаемыми философскими проблемами прочитывается интерес Булгакова к определенной традиции в европейской духовности.

Мы имеем в виду философию Ф. Ницше. Хотя в «Мастере и Маргарите» не упоминается имя философа и нет прямых отсылок к его идеям, тем не менее в романе на разных уровнях обыгрывается весь комплекс проблем «сила — слабость — власть», актуализированных в философии Ницше и активно дискутируемых в русской литературе рубежа столетий. Для человека рубежа веков философия Ницше была той точкой, в которой с поразительной наглядностью преломились коллизии не только современной эпохи, но и характер целого этапа мировой истории. Философия Ницше сконцентрировала в себе ощущение тотального кризиса, который охватил европейскую культуру по истечении ее почти двухтысячелетней христианской истории.

В русскую культуру Ницше вошел как разрушитель и ниспровергатель исконных ценностей, как тот *enfant terrible* мировой философии, который с почти детским максимализмом потребовал пересмотра интеллектуального и нравственного багажа, «переоценки всех ценностей», а в аксиологической части учения выступил как творец новой ценностной шкалы. Основной целью Ницше было очищение и обновление мира, преобразование человека, его мышления, морали и нравственности. Именно Ницше в своем стремлении перестроить жизнь с поражающей остротой поставил вопрос об активности и воле личности, завоевывающей и творящей мир. Идеи Ницше широко охватили русскую культуру, его влияние испытали на себе Мережковский и Бальмонт, Блок и Брюсов, Л. Андреев и Горький, Гумилев, В. Хлебников, Вяч. Иванов и многие другие. Степень распространенности его идей вполне может быть охарактеризована признанием одного из персонажей «Петербурга» А. Белого (книги, которую очень внимательно читал Булгаков): «Мы все ницшеанцы»⁴. Русское

⁴ Белый А. Петербург. М., 1981. С. 85.

ницшеанство — явление сложное и пестрое, отмеченное сильными притяжениями и отталкиваниями, гипертрофией и актуализацией самых разных аспектов учения базельского отшельника — от дионисийской концепции до идей «философии будущего», от критики христианской морали до идеи «белокурой бестии»⁵. Булгаков в известной мере наследовал этой многообразной картине реакции русской культуры рубежа веков на наследие и судьбу «великого безумца».

Документальное свидетельство знакомства семьи Булгаковых с произведениями Ницше принадлежит сестре писателя, Н. А. Булгаковой-Земской: в письме К. Паустовскому от 28 января 1962 г. она, отмечая наиболее важные события семейной жизни Булгаковых в киевский период, упоминает чтение Ницше и споры «о науке и религии, о философии, непотворению злу и сверхчеловеке»⁶. (Отметим вскользь, что само сочетание двух разнонаправленных философских идей — толстовского непотворения злу и ницшеанского сверхчеловека — содержит отголосок знакомства с книгой Л. Шестова «Добро в учении гр. Толстого и Фр. Ницше» (СПб., 1900 или СПб., 1907.)

Во втором свидетельстве названо даже произведение, которое Булгаков читал и к которому относился, как утверждает мемуарист, С. Ермолинский, без всякого пиетета: «Однажды, подняв на меня глаза и сжимая от головной боли брови, он сказал: — Если жизнь не удастся тебе, помни, тебе удастся смерть... Это сказал Ницше, кажется, в «Заратустре». Обрати внимание — какая надменная чепуха! <...> Дурак Ницше»⁷. Высказывание Ницше, приведенное Булгаковым, отсылает к главке «О свободной смерти» из первой части книги «Так говорил Заратустра» и высказанной в ней сентенции: «Иному не удастся жизнь: ядовитый червь гложет ему сердце. Пусть же постарается он, чтобы тем лучше удалась ему смерть»⁸. Красноречив сам факт, что эта мысль Ницше оспаривается смертельно больным писателем. Слова же — «кажется, в “Заратустре”» — подразумевают знание и других сочинений мыслителя.

В случае с Булгаковым мы имеем дело с писателем, сознательно почти не оставившим указаний для интерпретации его творчества вне своих произведений и, пытаясь выявить в них рефлексии философии Ницше, мы вступаем в область предположений и допущений, которые, однако, провоцируются творчеством Булгакова, и особенно — романом «Мастер и Маргарита», дающим веские основания для обращения к этой теме.

⁵ Nietzsche in Russia / Ed. V. G. Rosenthal. Princeton University Press, 1986.

⁶ Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988. С. 58.

⁷ Ермолинский С. О Михаиле Булгакове // Театр. 1966. № 9. С. 95.

⁸ Ницше Ф. Собр. соч.: в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 52.

Для Булгакова было, по всей вероятности, характерно восприятие истории, философии, эстетики в неких цельных, достаточно конкретных образах, как правило, экстрагированных из рефлексий современников. В этом смысле можно предположить, учитывая и приведенные свидетельства мемуаристов, что философия немецкого мыслителя воплотилась для него в первую очередь именно в идее «сверхчеловека», хотя, безусловно, можно назвать и другие идеи Ницше, которые могли занимать его как художника (например, идею «вечного возвращения», которая в романе «Мастер и Маргарита» имеет своеобразный аналог в образе мультиплицированной христианской мистерии, проблема добра и зла и т. д.).

Миф о Ницше, возникший в русской культуре начала столетия, широко распространившись, привел к упрощенному восприятию его идей. Издержки массового интереса к философии мыслителя имели драматический общественный резонанс: «<...> нынешнее вырождение героического идеала берет свое начало в поверхностной моде на философию Ницше, захватившей широкие круги около 1890 года. <...> Среднестатистический олух конца века говорил об *Übermensch* (сверхчеловеке), как будто доводился ему младшим братом. Эта <...> вульгаризация идей Ницше, без всякого сомнения, стала зачином того идейного направления, которое поднимает сейчас героизм до уровня лозунга и программы»⁹.

И. Хейзинга имел в виду те самые исторические условия, которые Булгаков знал изнутри. Восприятие Ницше в Советской России было парадоксальным: официальная идеология новой эпохи увидела в Ницше не провозвестника философии будущего и гуманиста нового типа, а величайшего реакционера, апологета «буржуазной эксплуатации» и рабства, заменившего идею классовой борьбы как движущей силы в истории человечества идеей «воли к власти». Даже резко отрицательное и пренебрежительное отношение Ницше к христианству не компенсировало для новой власти опасных «догадок» о ее сущности как насилия меньшинства над большинством.

Однако скрытые возможности интерпретации философии Ницше в духе тоталитарной мифологии¹⁰ были использованы советскими правителями, несмотря на внешнюю демонстрацию принципиального неприятия (отзвук которого можно усмотреть в возмущенном письме

⁹ Хейзинга И. *Homo ludens*. М., 1992. С. 325.

¹⁰ О зародыше подобного подхода у Вяч. Иванова см.: Аверинцев С. Поэзия Вяч. Иванова // Вопросы литературы. 1975. № 8. С. 152; о «сатанизации ницшеанства в идеологии национал-социализма» см.: Свасьян К. А. Фридрих Ницше: мученик познания // Ницше Ф. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 34–45.

Горького В. Ходасевичу о перечне философов (среди них числился и Ницше), запрещенных в Советской России «Указателем об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы», подписанным Н. Крупской и П. Лебедевым-Полянским (письмо 1923 г.)¹¹.

Булгаков, мировоззрение которого сформировалось в эпоху Серебряного века, а творчество пришлось на период становления и последующего торжества тоталитарной системы, решал проблемы силы, власти и «сверхчеловека» в ином ключе. Можно с полной определенностью говорить о том, что основные положения ницшеанской философии были для него неприемлемы. Ему, по-видимому, претила замена Христа как средоточия морали «сверхчеловеком», стоящим «по ту сторону добра и зла» и отказавшимся от «общественного договора»¹²; кроме того, в новых условиях идеи «сверхчеловека» и «воли к власти», по-видимому, ассоциировались у Булгакова с последствиями установления режима, который именно с помощью силы подавлял индивидуальное, личностное начало. Политические процессы 1930-х гг. и весь «стиль» жизни в пореволюционной России немало тому способствовали. Вместе с тем Булгаков-художник не мог не испытывать и сильного противостояния варианту советского «сверхчеловека», насаждавшегося литературой эпохи, — героя-деятеля, сильного, волевого, преобразующего мир на основе новых ценностей (сама революция 1917 г. являла пример глобальной «переоценки ценностей», обернувшейся их разрушением со всеми вытекающими последствиями, в том числе и разрушением личности) — противостояния, проявившегося прежде всего в том, что герой «Мастера и Маргариты» принципиально альтернативен герою, доминирующему в официальной литературе.

На перекрестье этих идеологических потоков сформировалась и концепция булгаковского «закатного романа» в плане оппозиции «сила — слабость». Эта оппозиция, занимая важное место в архитектонике «Мастера и Маргариты», прослеживается не только на примере образа Иешуа. В московской линии романа аналогом Иешуа является Мастер. Его слабость многократно подчеркнута его внешностью — «пугливо озирающийся» (с. 384) человек со «встревоженными глазами» (с. 129), измученный тоской и «душевной болезнью», «сломанный» обстоятельствами («меня сломали») (с. 284); «А плечи, плечи с бременем... искалечили, искалечили...» (с. 356) и отказавшийся от своего творчества. Последнее дало исследователям повод говорить о неполноте посмертной награды Мастера именно вследствие его слабости и отсутствия

¹¹ Ходасевич В. Ф. Некрополь. Воспоминания. М., 1991. С. 180.

¹² Ср.: Ницше Ф. Происхождение морали // Ницше Ф. Собр. соч. Т. IX. [Б. м., б. г.] С. 160–161.

«бойцовских» качеств¹³. Однако для Булгакова, который, кстати, нигде не определяет иерархического соотношения «свет — покой», «слабость», уязвимость Мастера для внешних воздействий, его хрупкость принципиальны. Его герой-художник осознанно исключает себя из мира, который строится по принципу беспрекословного подчинения власти и неизбежно деформирует личность. С этим связан и его ответ Ивану Бездомному: «Вы — писатель? — с интересом спросил поэт. <...> — Я — мастер, — он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой “М”» (с. 134).

Сила, заключенная во власти, как начало, враждебное человеческой и особенно творческой личности, по концепции Булгакова действительна лишь в пределах земной жизни. Именно земная жизнь, волосок которой легко перерезать, подразумевается в разговоре Иешуа с Понтием Пилатом, и именно в земной жизни Мастер пасует перед силой. Знаменательна и его готовность обратиться за помощью к силе иной, находящейся за пределами земного бытия: «<...> когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы! Ну, что ж, согласен искать там» (с. 356). В инобытии все земные качества трансформируются, не случайно одна из метаморфоз непосредственно связана с силой — слабостью: переживший свою земную Голгофу и утративший творческую силу, Мастер обретает ее в инобытии. Это позволяет ему завершить роман, от которого он в своей земной слабости отказался, и даровать тем самым прощение Пилату. Это сила и власть творческая, но она находит и некое материальное воплощение: «Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил» (с. 370).

Трансцендентальную силу представляют в булгаковском романе Иешуа (в его посмертном существовании) и Воланд. В отличие от силы земных правителей, весьма ограниченной, масштаб силы инобытийной беспределен. Тем более интересно, что в своем земном воплощении оба персонажа чаще проявляют себя в моменты слабости. Воланд, о котором Маргарита «восхищенно говорит»: «Всесилен! Всесилен!», даже демонстративно, иронизируя и издеваясь над «профанами», скрывает свои безграничные возможности: в эпизодах предсказания судьбы Берлиоза, в ответах на вопрос о своей национальности, роде занятий, в сцене прощения Фриды, которое «полагается делать другому <...> ведомству» (с. 275) и т.п. Даже его внешний вид в ключевые моменты романа наводит на мысль скорее о его слабости, нежели силе

¹³ См. о «капитуляции» Мастера: *Булгаков М. А. Собр. соч.:* в 5 т. М., 1990. Т. 5. С. 623.

(ср.: больное колено, халат, ночная рубашка). Игровая стихия, наиболее ярко проявляющаяся в демонологической линии романа, доходит до апогея в момент выхода Воланда на балу, где он появляется в грязной заплатанной сорочке, опираясь на шпагу, как на трость, прихрамывая. Власть Воланда не нуждается во внешних подтверждениях. На этом фоне особый смысл приобретают рассуждения (чрезвычайно важные для булгаковской концепции участи власть предержащих) о «превратностях судеб» тех, кто считал себя всесильным, а посмертно превращаются в прах — в отличие от Мастера, обретающего и новое бытие, и возможность нового творчества, и, быть может, судьбу «нового», неземного Фауста.

Наибольшие изменения в пределах оппозиции «сила — слабость» претерпевает Понтий Пилат, который появляется в романе как человек, облеченный высшей властью в Ершалаиме. Сохраняя присущее ему игровое начало, Булгаков в какой-то момент разговора Пилата и Иешуа меняет героев местами: Иешуа ощущает, что сам он «невольнo» является «палачом» могущественного прокуратора (с. 26). Пилат раздваивается между желанием спасти странного подсудимого и страхом перед кесарем и остается верен закону и долгу, т.е. сохраняет свою власть/силу, уступая большей силе — власти Тиберия. Двойственность его сознания подчеркнута им самим: только что готовый отпустить мнимого преступника и подсказывающий ему путь спасения, Понтий Пилат вместе с тем ощущает себя и в ином качестве — не просто человека, но представителя власти: «Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? <...> Или ты думаешь, что я готов занять твое место?» (с. 33).

Сцена осуждения Иешуа построена Булгаковым очень тонко: Понтий Пилат, оставшись в рамках проявлений, предписанных ему его положением, в то же время томится предчувствием своей будущей судьбы. Исследователи заметили здесь отсылку к последующей реальной судьбе римского наместника — смещению его с должности в 36 г.н.э. и ссылке в Галлию. Сцена эта, однако, интересна и другим: прокуратор, испытывающий тревогу из-за непонятных ему сигналов о будущем тягостном бессмертии, тем не менее, в этот момент ощущения полноты своей земной власти оказывается не в состоянии воспринять обращение к нему подлинной, трансцендентальной силы. «Несчастья впоследствии», обещанные Пилату собеседником в одной из ранних редакций, порой воспринимаются исследователями как намек «на внеземные несчастья» Пилата¹⁴, однако при этом упускаются из вида его душевные муки и переживаемая им метаморфоза.

¹⁴ Булгаков М. Великий канцлер. С. 480.

Именно в сцене допроса Булгаков впервые выводит на поверхность текста слово «власть», имплицитно присутствующее в нем с самого начала. Именно власть — предмет беседы Иешуа с Иудой: «<...> всякая власть является насилием над людьми <...> настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти <...> не будет надобна никакая власть» (с. 32). Ключевое слово «власть» в подобном контексте вызывает у прокуратора «безусловный рефлекс» властителя: «На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиберия!» (с. 32).

Власть у Булгакова связана с понятием истины, а истина скоррелирована в романе с Иешуа. На «низшем», внешнем уровне истина заключается в том, что у Пилата болит голова. Говоря об этой «истине», Иешуа как бы апеллирует к чисто человеческой («слабой») стороне прокуратора. Но уже в следующий момент эксплицируется истина в «высшей» своей ипостаси — как свойство высшей реальности, качество иного мира, «царства истины и справедливости», отмеченного отсутствием какой бы то ни было власти. Понтий Пилат способен принять первое определение истины, земное и материальное, но к «царству истины и справедливости» он совершенно не подготовлен и потому, срывая голос, кричит: «Оно никогда не настанет!» (с. 32). Отражением двух ипостасей истины предстает в романе и первоначальная «земная» реакция Пилата на уход Иешуа: ему кажется, что его утрата состоит именно в том, что некому будет излечить «страшные злые боли» (с. 36), именно этим он склонен объяснить свою тоску, ощущение недоговоренности и т. п. Подлинный смысл происшедшего откроется ему позже.

Эволюция героя ведет к его полному перерождению, желанию переписать эту страницу жизни наново. Это переписывание происходит во сне Пилата, когда прокуратора побеждает человек. Во сне он согласен отказаться от власти, т. е. стать слабым, простым смертным. В начале романа дилемма — отпустить Иешуа и тем самым лишиться себя власти или казнить его и сохранить власть — решается естественным для жестокого правителя образом. Теперь же, в вещем сне, перерожденный Пилат принимает противоположное решение: «<...> помилуйте меня философ! Неужели вы, при вашем уме, допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру прокуратор Иудей? <...> Разумеется, погубит. Утром бы еще не погубил, а теперь, ночью, взвесив все, согласен погубить...» (с. 310). Именно теперь, в минуты слабости, плачущий во сне прокуратор обретает подлинную силу и способность отвергнуть иллюзорные привилегии земной власти во имя высших ценностей.

Итак, выстраивая в романе оппозицию «сила — слабость», Булгаков словно пересматривает основной комплекс положений философии

Ницше, связанных с идеей «сверхчеловека», где человеческая слабость и сострадание к «твари в человеке» отрицаются, где осуждается вера во взвешенные решения вопросов («<...> оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах!»)¹⁵ и декларируется уход от «человеческого, слишком человеческого» во имя обретения силы и власти. Для Ницше было очевидно, что «требовать от силы, чтобы она не проявляла себя силою, чтобы она не была желанием <...> господства <...> столь же бессмысленно, как требовать от слабости, чтобы она проявлялась в виде силы»¹⁶. Эти идеи Ницше наиболее ярко были выражены в его реакции на христианство и «сократизм», актуализировавшие идеи духовной активности человека как особого пути его индивидуализации. Ницше выступал за оргиастический культ освобождения человека, в максимальной степени проявившийся в его учении о Дионисе и идее «белокурой бестии», противопоставленной человеку, — «больному» животному с рабской психологией, тревожной совестью и бессильной волей, каковым ему представлялся выпестованный христианством человек.

В определенной мере Булгаков не мог не усмотреть в идеологии советского общества 1920–1930-х гг. воплощения, разумеется, в вульгаризированной форме, некоторых идей Ницше, где отдельный человек из категории «слабых» оказывался в положении «единица — ноль», ибо индивидуальное, человеческое в иерархии ценностей располагалось значительно ниже государственного, коллективного («слабые» и тяготеют, по Ницше, к нивелированию и рабской морали). Личность же, обладающая сильной «волей к власти» и властью наделенная, была уже не человеком, а знаком власти, обретала черты «сверхчеловека» и пользовалась вседозволенностью. В противовес этому Булгаков тяготеет именно к «сократическому» типу личности и в условиях жестокого подавления личности выдвигает мысль о возвращении к человеческому началу, которое Ницше считал слабостью. Единственные страдания, которые признавал немецкий философ, — страдания от излишней «силы» (Дионис), в противовес страданиям от «слабости» (Христос), которые ему претили, как и все «оправдания» этих страданий, расцененные как «лукавство бессилия»¹⁷.

Именно возвращение к человеческой сути, особенно для людей, облеченных властью, было очень важно для Булгакова, не случайно на страницах своего романа придавшего земной власти эфемерный характер. Новая шкала ценностей, которой Ницше предлагал заменить

¹⁵ Ницше Ф. Так говорил Заратустра: Книга для всех и ни для кого. СПб., 1911. С. 6.

¹⁶ Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Кн. 2. М., 1990. С. 31.

¹⁷ Там же. С. 32.

двухтысячелетний опыт человечества, связанный с историей христианства, чужда Булгакову, глубочайшая интенция романа которого противоположна духу идей немецкого философа. Вместо призывов отказаться от «тяжелого» наследства, от «старого безумия, которое называется добро и зло»¹⁸, встать «по ту сторону добра и зла» и сделаться «смеющимися львами», проявившими силу и «победоносность», Булгаков призывает остаться «слабыми». Если Ницше видит в современном человечестве слишком многое от «червя» и лишь «мост» на пути к «сверхчеловеку», утро которого, согласно пророчествам Заратустры, уже «брезжит», то Булгаков предостерегает от опасности использования искаженных, вульгаризированных, профанированных идей философа, которая таится в недрах его полной противоречий «философии неприятных истин» и становления породы «смеющихся львов». И наконец, следует отметить и то, что оппозиция «сила — слабость» имела для Булгакова гораздо более сложное преломление, поскольку учитывала и оживляла в сознании уже сложившуюся традицию русской литературы, наиболее ярко реализовавшуюся в решении Достоевским дилеммы «тварь дрожащая» — Наполеон.



¹⁸ Ницше Ф. Так говорил Заратустра: Книга для всех и ни для кого. С. 168, 176.